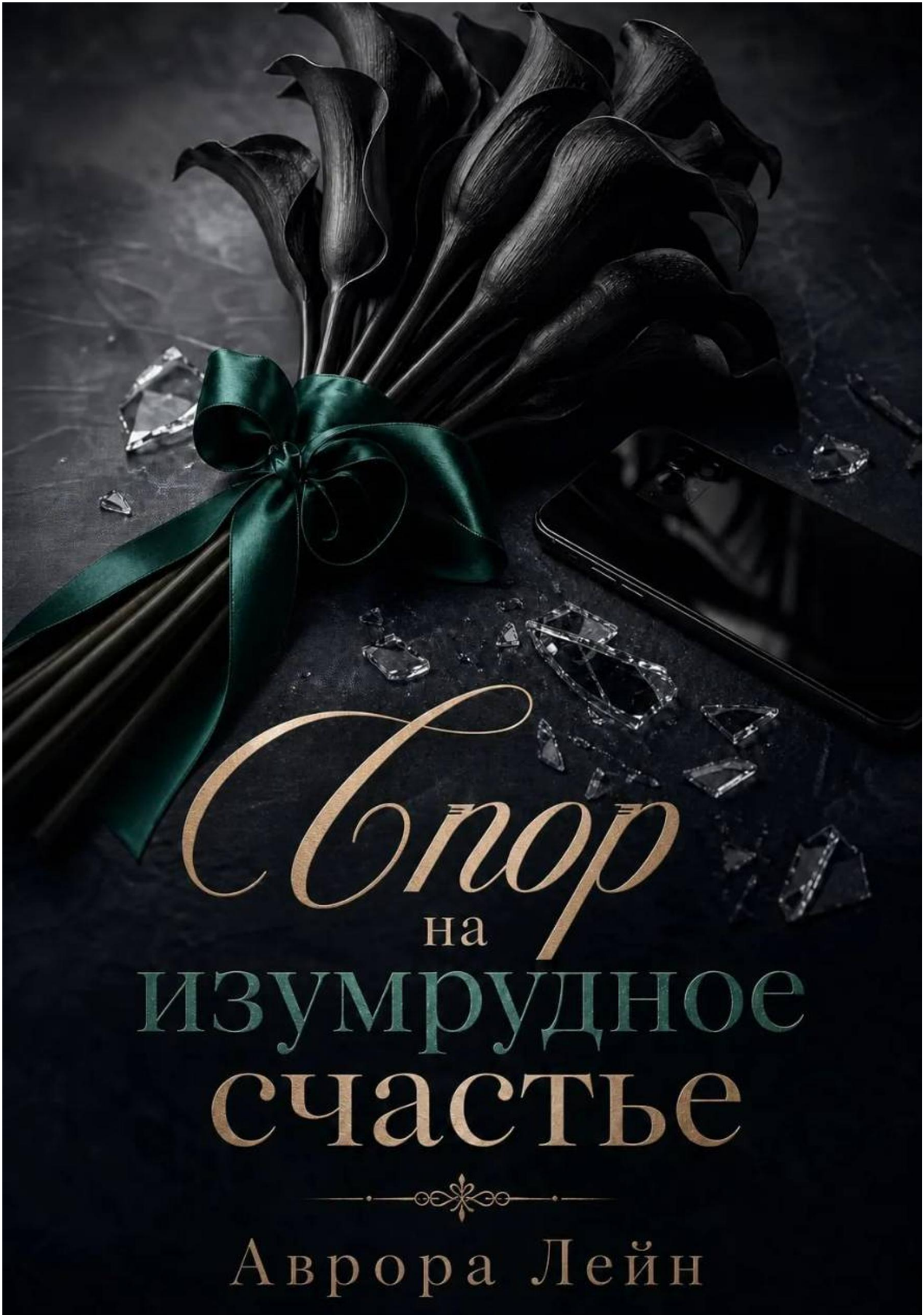
Спор
на
изумрудное
счастье
Аврора Лейн

Аврора Лейн

Спор на изумрудное счастье

«Автор»
2026

Лейн А.

Спор на изумрудное счастье / А. Лейн — «Автор», 2026

Можно ли любить человека двадцать лет и ни разу не позволить себе коснуться его по-настоящему из страха снова потерять? Кристиан превратил свою боль в броню, а Стешу — в неприкосновенную «звезду», обречённую годами стоять на балконе и смотреть, как он уходит с другими.Когда Стеша решается на отчаянный шаг и предлагает спор длиною в год, оба ещё не знают, чем он обернётся. Для неё это шанс впервые вдохнуть свободно и узнать, что любовь — это не экзамен и не клетка, а тёплые руки человека, который просто рядом. Для него — мучительное столкновение с собственной трусостью.Чья ставка окажется выше: двадцать лет привычки или право на настоящее, живое счастье?

© Лейн А., 2026
© Автор, 2026

Аврора Лейн
Спор на изумрудное счастье

Глава 1

Глава 1. Звезда на привязи

Телефон вибрирует раньше будильника, и это уже само по себе неправильно, потому что будильник у меня стоит на семь пятнадцать, а сейчас, я знаю это не глядя, где-то между шестью и семью, то самое серое время, когда город ещё не решил, просыпаться ему или нет. Я тянусь за телефоном с закрытыми глазами, натыкаюсь пальцами на холодное стекло тумбочки, нахожу наконец экран и щурюсь на свет, как будто он меня ослепляет.

Имя на экране: Парео.

Я не помню, когда перестала называть его Крисом даже в мыслях. Кажется, лет в двенадцать он сам объявил, что Кристиан — слишком длинно, а Крис — слишком просто, и в его устах прозвище прозвучало так, будто это была не шутка, а указ, который не обсуждается. С тех пор для меня он Парео. Даже сейчас, когда мне двадцать шесть и я по всем документам взрослая, самостоятельная женщина с ипотекой и рабочим графиком, для меня он всё ещё Парео — и это имя срабатывает быстрее, чем кофеин.

Я улыбаюсь.

Улыбаюсь ещё до того, как разбираю буквы, просто потому что вижу его имя, и что-то внутри груди делает этот привычный кувырок, тёплый и глупый одновременно. Только потом, спустя секунду или две, я действительно читаю: «Сегодня у Марго вечеринка. Приезжай к десяти, звезда. Без тебя скучно».

Три коротких предложения. Обычные слова, которые он говорил мне сто раз за двадцать лет, и каждый раз они действуют одинаково — как будто кто-то щёлкает выключателем внутри меня, и то, что было серым утром, наполняется светом.

Я лежу, смотрю в потолок и понимаю, что улыбка так и не сползла с лица.

Господи, какая же я дура.

Взрослая женщина, у которой своя квартира, своя жизнь, своя, между прочим, неплохая карьера, а лежит тут, в шесть с чем-то утра, и раскисает от трёх строчек в мессенджере, будто мне пятнадцать и я жду записку с последней парты от мальчика, который сидит через два ряда и на переменах делает вид, что меня не замечает. Только вот записки с последней парты обычно пишут не для того, чтобы через час уехать домой с другой.

Я откладываю телефон на подушку рядом и лежу неподвижно, слушая, как где-то за окном заводится машина, как гудит невидимый лифт в соседнем подъезде, как обычный город начинает обычный день. А я лежу и пытаюсь вспомнить, когда в последний раз моё настроение с самого утра зависело не от того, что мне снилось, не от того, какая погода за окном, а от одного простого факта: написал он или нет.

И не могу вспомнить.

Может быть, никогда. Может быть, с того самого детства, когда мне было шесть, а ему восемь, и наши родители, смеясь за одним столом с бокалами шампанского, шутили, что вот бы поженить детей, чтобы объединить состояния, а мы сидели рядом, перепачканные тортом, и я смотрела на него снизу вверх так, будто он уже тогда был звездой, а не я.

С тех пор прошло двадцать лет, а привычка осталась той же: я всё ещё смотрю на него снизу вверх, только теперь это называется по-другому — зависимость, токсичность, называй как хочешь, суть одна. Одно его слово может сделать меня счастливой на весь день, и одно его молчание способно испортить неделю. Я знаю это про себя, знаю прекрасно, но знание почему-

то не отменяет действия, как будто внутри есть кнопка, до которой у меня нет доступа, а у него есть, и он на неё жмёт, даже не глядя.

Я поворачиваюсь на бок, кутаюсь в одеяло, хотя в комнате не холодно, просто мне вдруг хочется во что-то завернуться, спрятаться хоть от себя самой. Смотрю на экран, где сообщение всё ещё светится своими тремя строчками, и думаю: сегодня будет иначе.

Сегодня я не побегу переодеваться в семь вечера, три раза меняя платье. Сегодня я отвечу через пару часов, а не сразу, как обычно, будто у меня и без него дел полно, между прочим, действительно полно. Сегодня я приеду к одиннадцати, а не к десяти минута в минуту, потому что имею право заставить его подождать хоть раз в жизни.

Сегодня всё будет иначе.

Я говорю это себе почти вслух, тихим шёпотом в подушку, и в этот же момент ловлю себя на том, что рука уже сама тянется к телефону, чтобы напечатать «буду», и палец уже завис над экраном, готовый отправить это одно короткое слово прямо сейчас, немедленно, без всякого достоинства и выдержанной паузы.

Я убираю руку.

Кладу телефон обратно на подушку, экраном вниз, будто это что-то меняет. Смотрю в потолок, туда, где утренний свет уже начинает пробиваться сквозь неплотно задёрнутые шторы, и усмехаюсь сама над собой — коротко, невесело, привычно.

Двадцать шесть лет, а всё ещё жду записку с последней парты.

Только вот записка эта каждый раз одна и та же: «приезжай, звезда», и каждый раз я иду на этот свет, как будто у меня нет выбора, хотя выбор, если подумать, есть всегда. Просто я его почему-то никогда не делаю.

* * *

Стол в саду накрыт по-летнему — скатерть в клетку, кувшин с компотом запотел так, что стекло стало матовым, и мама всё смеётся, откинув голову, будто отец сказал что-то невероятно смешное, хотя он просто разлил шампанское по бокалам, а нам с Кристианом — компот в те же самые фужеры, чтобы мы тоже чувствовали себя взрослыми.

— Ну вот и договорились, — говорит папа, поднимая бокал так, что солнце ломается в нём на тысячу осколков. — Стешка и Кристиан — жених и невеста. Прямо с пелёнок сосватали.

Родители Криса переглядываются, и его мама смеётся своим низким грудным смехом, а моя мама уже тянется чокнуться, будто это не шутка вовсе, а решённое дело, будто где-то в загсе уже лежит бумага с нашими именами, и осталось только дождаться, когда мы подрастём достаточно, чтобы её подписать.

Мне шесть. Торт у меня на щеке, на подбородке — крем, и я знаю, что выгляжу нелепо, но мне всё равно, потому что взрослые смеются, а взрослый смех — это всегда хорошо, это значит, что праздник, что можно ещё кусок торта, что всё вокруг тёплое и правильное.

Кристиан рядом со мной закатывает глаза так демонстративно, что кажется, будто у него сейчас голова перевернётся вместе с глазами.

— Фу, — говорит он громко, специально, чтобы все слышали. — Ещё чего. Жениться на Стешке.

Ему восемь, и в этом возрасте девчонки — это позор, а свадьба — это что-то из фильмов про принцесс, которые он, конечно же, не смотрит, потому что он мальчик, а мальчики смотрят про роботов. Он говорит «фу» так убедительно, что взрослые снова смеются, ещё громче, а мама Криса треплет его по волосам и говорит что-то вроде «ну подожди, ещё передумаешь», и он вырывается из-под её руки с видом полного и окончательного отвращения ко всему происходящему.

А потом, под столом, где никто не видит, где скатерть свисает почти до земли и скрывает наши ноги в сандалиях, он берёт меня за руку.

Просто берёт. Без предупреждения, без взгляда, будто это не он только что кричал «фу» на весь сад. Его ладонь тёплая и немного липкая от того же торта, и пальцы у него короче моих, хотя он на два года старше, и он сжимает мою руку так, как будто это самая обычная вещь на свете, а сам при этом продолжает смотреть прямо перед собой, ковыряя вилкой в тарелке, с лицом абсолютно незаинтересованным, будто его рука сейчас не в моей руке, а где-то в другом месте.

Я смотрю на него сбоку. Он не смотрит на меня.

И вот тогда что-то в груди сжимается — впервые, совсем чуть-чуть, будто кто-то невидимый взял и потянул за ниточку внутри, туго-туго, и отпустил не до конца. Я не знаю, что это. Мне шесть лет, и у меня нет слов для того, что происходит внутри, есть только ощущение, что мир вдруг стал чуточку меньше и весь поместился в эту руку под столом, в этот липкий тёплый след на моей ладони.

Я запомню это на двадцать лет вперёд. Само ощущение, не слова к нему.

Тогда я решила, что он мой. Просто решила, без всяких сомнений, с той абсолютной уверенностью, на которую способны только дети — уверенностью, не требующей доказательств, не знающей, что такое цена. Взрослые смеялись, шутили, чокались бокалами над нашими головами, а я уже всё решила про себя, серьёзно и окончательно, как решают только в шесть лет: он мой, и точка.

Никто не спросил меня, во что это выльется.

Никто не сказал, что через двадцать лет эта же рука будет отдёргиваться от меня быстрее, чем я успею её коснуться, что «моя» превратится в слово, которое он будет произносить с нежностью, а действовать при этом так, будто оно ничего не значит. Никто не предупредил, что сжатие в груди останется тем же самым на все эти годы, только вместо тёплого липкого счастья в нём поселится что-то другое, что-то, что я буду называть по-разному, но чувствовать одинаково.

Кристиан вытаскивает руку из-под стола первым, отряхивает пальцы о шорты, будто ничего и не было, и громко просит добавки торта. Мама наливает ему кусок побольше моего, потому что он гость, потому что он старше, потому что так положено, и он берёт тарелку с видом человека, который только что выполнил неприятную обязанность и теперь заслуживает награды.

Я смотрю на свою ладонь. На ней ничего нет, ни следа, ни отпечатка, только тёплое место там, где была его рука, и это тепло держится ещё какое-то время, пока не растворяется в вечернем воздухе вместе с запахом скошенной травы и жжёного сахара.

Солнце садится, компот в кувшине совсем нагрелся, мама с папой Криса поднимают уже третий тост, а я сижу и думаю, что вот теперь у меня есть жених, самый настоящий, только он об этом ещё не знает, а если бы знал — снова сказал бы «фу» на весь сад.

Изображение плывёт, теряет резкость по краям, как будто кто-то стирает его влажной тряпкой, и запах жжёного сахара сменяется запахом моей собственной подушки, а тёплый вечерний свет — холодным утренним, пробивающимся сквозь неплотно задёрнутые шторы.

Я моргаю. Потолок надо мной снова обычный, белый, без единой трещинки сада на нём.

* * *

Крыша дома Криса пахнет нагретым за день битумом и чем-то ещё, чему я не знаю названия, — так пахнет август, когда до конца лета остаётся всего одна неделя, и ты это чувствуешь кожей раньше, чем календарём.

Мне шестнадцать, я забралась сюда по пожарной лестнице в его старых кроссовках, потому что свои забыла дома, и теперь сижу, обхватив колени, и смотрю на город внизу, который в темноте превращается в рассыпанную по земле горсть углей.

— Смотри, — говорит Крис, не оборачиваясь, кивает куда-то вверх, где над крышей соседнего дома одна точка светит ярче остальных, не мигая, как самолёт. — Вон она.

— Кто?

— Звезда. Настоящая, не спутник. — Он щурится, будто хочет удостовериться в собственных словах. — Вот такая же ты. Среди всей этой ерунды мигающей горишь ровно.

Я не понимаю до конца, что он имеет в виду, но что-то в груди у меня подскакивает и замирает, как будто я одна нашла клад и боюсь спугнуть.

— Ты сейчас это придумал, — говорю я, чтобы что-то сказать, чтобы не молчать под тяжестью того, как он на меня смотрит, искоса, не поворачивая головы полностью.

— А если придумал? Разве неправда?

Он придвигается ближе, кладёт руку мне на плечи, и я перестаю дышать, честно, буквально забываю, как это делается, потому что рука тяжёлая и тёплая, и от него пахнет чужим одеколоном, который он, наверное, украл у отца, и мятной жвачкой, которую он жуёт вместо того, чтобы отвечать на неудобные вопросы.

— Ты замёрзла, — говорит он, и это не вопрос, а утверждение, и я не замёрзла, мне жарко, мне так жарко, что хочется скинуть куртку, но я говорю «да», потому что это единственный способ, которым он мог бы прижать меня к себе крепче, и я хочу этого больше всего на свете прямо сейчас.

Минуту, может, две мы сидим так, и я боюсь моргнуть слишком громко, боюсь, что любое движение с моей стороны напомнит ему, что он вообще-то не должен этого делать, что где-то есть правило, которое я ещё не знаю, но которое он уже вычислил для себя и живёт по нему, как по расписанию поездов.

Плечо под его рукой немеет, но я не двигаюсь.

Город внизу гудит какой-то одной длинной нотой, машины, музыка из открытых окон, чей-то смех на другом балконе, а мне кажется, что весь этот звук существует только для того, чтобы заполнить паузу между тем, что он сказал, и тем, что должно случиться дальше.

Ничего не случается.

Он вдруг убирает руку, резко, будто она обожглась, и вскакивает на ноги так быстро, что я чувствую холодный воздух там, где секунду назад было его тепло.

— Так, всё, заигрался, — говорит он с усмешкой, которая должна выглядеть беспечной, но у него это плохо получается, я уже тогда умела считывать, когда он играет и когда прячется за игрой. — Пошли, мать твоя обещала пирог.

Он идёт к лестнице первым, не глядя, иду ли я за ним, спускается вниз через открытое окно чердака, и я слышу, как его шаги стихают где-то в глубине дома, а я остаюсь на крыше одна, с чужими кроссовками на ногах и с этим словом, которое он бросил мне, как монету в фонтан, не оборачиваясь, чтобы посмотреть, утонула она или нет.

Звезда.

Я повторяю его про себя раз, другой, третий, катаю на языке, будто хочу проверить его на вкус, и каждый раз мне становится чуть теплее внутри, хотя на улице совсем стемнело и ветер с крыши уже настоящий, не воображаемый.

Тогда я ещё не понимала, что именно происходит, не знала слова для того, что чувствую, кроме того, что хочу ещё, хочу, чтобы он снова посмотрел так, снова сказал так, снова обнял так, и что готова сидеть на этой крыше сколько угодно, ждать, пока он снова решит, что можно.

Сейчас я знаю это слово. Оно называется зависимость, и я подсела на неё в шестнадцать лет, на одной крыше, за одну минуту чужого тепла, которое забрали у меня быстрее, чем я успела его заметить.

Полшага вперёд, шаг назад — я выучила этот танец наизусть, ни разу не спросив, кто научил меня танцевать первой.

* * *

Университет провожает нас в конец семестра дурацкой вечеринкой в общаге, где кто-то притащил колонку и договорился с комендантшей за бутылку коньяка, и я танцую, потому что

мне восемнадцать и потому что я имею на это право, чёрт возьми, даже если рядом нет Криса, который уехал по делам отца в другой город и вернётся только завтра.

Парень с моего курса, Дима, кажется, или Дэн, я вечно путаю их имена, подходит ближе, кладёт руку мне на талию, легко, не нагло, спрашивает что-то про то, умею ли я танцевать сальсу, и я смеюсь, потому что не умею, и говорю, что готова попробовать, и его ладонь тёплая через тонкую ткань платья, и мне на секунду хорошо той простой хорошестью, которая не требует расшифровки.

А потом воздух в комнате меняется, я чувствую это раньше, чем вижу его, будто температура падает на пару градусов, и когда поворачиваю голову, он уже стоит в дверях, ещё в дорожной куртке, будто примчался прямо с трассы, и смотрит не на меня, а на руку Димы у меня на боку, одним взглядом, коротким, ленивым почти, но Дима убирает руку так, словно его ткнули шилом.

— Извини, — говорит Крис ему, без всякой злости в голосе, что почему-то страшнее любой злости, — я заберу её.

Он не спрашивает меня, хочу ли я, чтобы меня забирали, просто берёт за локоть и ведёт к выходу, и я иду, потому что не иду за ним я, кажется, только во сне, а вокруг музыка продолжает играть как ни в чём не бывало, и никто даже не смотрит нам вслед, будто это самая обычная вещь на свете — что Крис приезжает ночью с трассы забрать меня с чужой вечеринки, на которой танцевать со мной ещё пять минут назад было совершенно нормально.

В машине пахнет бензином и его одеколоном, и я долго молчу, глядя в окно на фонари, которые тянутся оранжевой ниткой вдоль дороги, а потом всё-таки не выдерживаю.

— Тебе не всё равно, или тебе просто нужно, чтобы я была только твоя? — спрашиваю я, и голос у меня ровный, хотя внутри всё трясётся, потому что вопрос этот я ношу в себе уже год, а может, и все три.

Крис не отвечает сразу, руки на руле, взгляд на дорогу, и в свете встречных фар я вижу, как у него дёргается желвак, будто он жуёт слова, прежде чем их проглотить.

— Ты замёрзла, — говорит он вместо ответа и включает печку сильнее, хотя мне совсем не холодно.

— Крис.

— Что, Крис.

— Ты не ответил.

Он на секунду поворачивает голову, смотрит на меня так, что я забываю, о чём вообще спрашивала, а потом наклоняется и целует меня в висок, коротко, почти невесомо, губами едва касаясь кожи, и от этого прикосновения у меня по всему телу проходит какая-то дурацкая теплая волна, хотя умом я понимаю, что это не ответ, это способ его избежать.

— Хочешь, заедем за мороженым, — говорит он, — знаю круглосуточную точку у моста, там делают такое с солёной карамелью, ты обожала его в десятом классе.

И я киваю, потому что дальше спрашивать бесполезно, я уже выучила: если он не хочет отвечать, он меняет русло разговора так гладко, что ты и не замечаешь подмены, пока машина не притормаживает у ларька с мороженым, а вопрос твой так и остаётся висеть где-то в темноте за окном, никем не подобранный.

Я злюсь всю дорогу до моста, злюсь на себя за то, что позволила ему увезти меня, не сказав ни слова протеста, злюсь на него за то, что он умеет так ловко проскальзывать между «не всё равно» и «моя», не выбирая ни то, ни другое, оставляя меня гадать, что из этого правда, а злюсь ещё и потому, что стоит ему поцеловать меня в висок так, будто это что-то значит, и мне уже почти хватает.

Почти хватает того, что он не ответил, лишь бы он снова так на меня посмотрел.

Я беру мороженое с солёной карамелью, оно тает быстрее, чем я успеваю его съесть, и капает на пальцы, а Крис смотрит на меня в свете фонаря так внимательно, будто изучает,

не выветрилась ли из меня та вечеринка, тот танец, та чужая рука на моей талии, и я думаю, что если бы он хоть раз сказал прямо, ревнует он потому, что любит, или потому, что боится потерять свою вещь, я бы, наверное, знала, как жить дальше.

Но он молчит, и я снова прощаю его молчание в обмен на вкус карамели и тепло его плеча рядом, потому что, видимо, это и есть моя болезнь, я готова разменивать правду на полуправду, лишь бы полуправда была тёплой.

* * *

Дома, стоя перед раскрытым шкафом, я уже двадцать минут смотрю на два платья, будто от этого выбора зависит вся моя дальнейшая жизнь. Чёрное, с открытой спиной, в котором я была на дне рождения Алины и Крис не отрывал взгляда весь вечер, хотя потом уехал с чужой девушкой, будто это ничего не значило. И зелёное, короче, наглее, из тех, что покупаешь назло кому-то, даже себе не признаваясь, кому именно.

Я снимаю с плечиков чёрное и прикладываю к себе перед зеркалом, представляя, как он войдёт в зал, скользнёт по мне взглядом сверху вниз, задержится на секунду дольше, чем позволено просто другу детства, и что-то в его лице дрогнет, прежде чем он успеет спрятать это за привычной ленивой полуулыбкой. Я так хорошо знаю эту последовательность, что могу разыграть её сама с собой, без него, стоя тут в одних чулках посреди комнаты, и мне становится смешно и немного тошно от того, насколько я себя выучила наизусть в его декорациях.

Телефон звонит, когда я застёгиваю молнию сбоку, и на экране высвечивается имя Ксюши, моей единственной подруги, которая ещё не разучилась говорить мне неприятную правду.

— Ну как, готовишься к параду? — спрашивает она вместо привета, и я слышу, как на заднем фоне у неё шумит вода, наверное, тоже собирается.

— Готовлюсь, — говорю я, зажимая телефон плечом и пытаясь одновременно застегнуть браслет. — Взяла чёрное.

— То самое, в котором ты стояла у стены весь вечер, а он потом уехал с этой, как её.

— С Алисой.

— Неважно как, — Юля выключает воду, и в трубке становится тише, — Стеш, я серьёзно спрашиваю. Сколько ты ещё будешь это делать?

— Что делать, — я знаю ответ заранее, но тяну время, вожусь с застёжкой, будто она сложнее, чем есть.

— Наряжаться для человека, который тебя потом бросает одну в углу зала. Играть в его игру, где правила меняет только он.

Я смотрю на своё отражение, на то, как чёрная ткань облегает плечи, и на секунду вижу себя её глазами, со стороны, немного жалкой в этой готовности, немного смешной.

— Я не играю ни в чью игру, — говорю я легко, тем голосом, которым отшучиваюсь от всего, что задевает слишком глубоко. — Я просто иду на вечеринку в красивом платье. Это разные вещи, Ксюш.

— Ага, — она не спорит, но в этом «ага» столько всего, что можно было бы написать диссертацию.

Мы прощаемся быстро, она обещает приехать пораньше, я обещаю не напиваться раньше полуночи, и когда я кладу телефон на трюмо, её вопрос никуда не девается, он просто перестаёт звучать вслух и переселяется куда-то под рёбра, где уже давно живёт постоянным жильцом.

Сколько ещё. Я задаю себе этот вопрос, застёгивая серьги, и вдруг понимаю, что не могу вспомнить, когда в последний раз собиралась на что-то, не думая о том, заметит он или нет, останется рядом или найдёт повод исчезнуть. Мне двадцать шесть , ему двадцать восемь, а между нами лежат все двадцать лет с той истории, что наши родители рассказывали за столом как милую шутку, вот подрастут и поженятся, представляешь, и все смеялись, а я запомнила

это буквально, слишком буквально для ребёнка, который потом вырос и обнаружил, что шутка стала диагнозом.

Двадцать лет. Я мысленно перебираю их, как чётки, детский сад, школа, его первая мотоциклетная авария, когда я плакала под дверью больницы, хотя мне не разрешали заходить, потому что я не родственница, только соседская девочка, моё первое свидание с кем-то другим, когда он приехал забрать меня «случайно» через час после начала, выпускной, где он танцевал со мной один танец и назвал звездой так тихо, что я не была уверена, услышала ли это на самом деле или придумала. И я не могу найти в этой цепочке ни одного вечера, который принадлежал бы только мне, без его тени где-то на периферии зрения.

Я сажусь на край кровати в этом чёрном платье, которое вдруг начинает казаться тяжелее, чем должно быть, и думаю: замечательно. Взрослая, независимая женщина двадцати трёх лет, с образованием, с деньгами, с собственной квартирой, у которой личная жизнь синхронизирована с настроением одного конкретного человека, будто у меня внутри стоит невидимый барометр, настроенный исключительно на перепады его отношения. Меняется его лицо, меняется погода во мне. Отворачивается он, темнеет во мне. Улыбнётся, назовёт звездой, и я снова свечусь, как последняя дура, готовая простить что угодно за один этот взгляд.

Я встаю, подхожу к зеркалу ещё раз, поправляю прядь у виска и говорю своему отражению вслух, тем самым лёгким тоном, каким только что отшучивалась от Ксюши:

— Сегодня будет по-другому.

Отражение смотрит на меня без всякой уверенности, но я всё равно беру сумочку, гашу свет в комнате и иду вниз, к машине, повторяя это про себя, как заклинание, которое, если сказать достаточно раз, вдруг возьмёт и станет правдой.

* * *

Внизу гудит домофон, и я вздрагиваю, хотя жду ровно этого звука уже минут двадцать. За ним обычно приезжает Гоша на своей раздолбанной «девятке», или я вызываю такси сама, потому что Крис никогда, вот буквально никогда не заезжает лично, у него всегда находится причина, дела, встреча, кто-то ждёт его в другом конце города важнее, чем я. Но когда я поднимаю трубку, там его голос, спокойный, будто так было всегда.

— Спускайся, звезда. Я внизу.

Я стою с трубкой в руке ещё секунду дольше, чем нужно, потому что не понимаю, что мне с этим делать. Внутри что-то сразу начинает подниматься вверх, глупое, тёплое, то самое чувство, которое я обещала себе сегодня не подпускать на порог. Но оно не спрашивает разрешения, оно просто приходит, как приходит всегда, стоит ему сделать что-то хоть немного не так, как обычно.

Он стоит у машины, облокотившись на дверцу, руки в карманах, и когда я выхожу из подъезда, он не двигается, просто смотрит. Смотрит дольше, чем принято, дольше, чем нужно для простого «привет», и я чувствую, как под этим взглядом у меня начинает сбиваться шаг, будто я разучилась ходить по прямой.

— Ну надо же, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал легко. — Личный водитель. Что за повод?

— А без повода нельзя? — он наконец отталкивается от машины, идёт мне навстречу, и в свете фонаря я вижу, как у него меняется лицо, смягчается что-то в линии рта. — Просто соскучился по своей звезде.

Он произносит это тихо, почти как в тот раз на выпускном, с той же интонацией, от которой у меня внутри всё обрывается вниз, будто лифт поехал слишком быстро. Я знаю этот голос наизусть, знаю, что за ним обычно ничего не следует, знаю, что завтра он может пройти мимо меня в компании общих друзей так, будто мы вчера не виделись вовсе. Но сегодня, вот сейчас, в этот конкретный момент под этим конкретным фонарём, я позволяю себе поверить.

Голос разума где-то на периферии, слабый, почти неслышный, пытается сказать мне что-то про закономерности, про то, что так было уже сто раз, и каждый раз кончалось одинаково. Я его выключаю. Просто беру и выключаю, как радио, которое играет не то, что я хочу слушать сегодня вечером.

— Сегодня без повода, — говорю я. — Значит, сегодня будет по-другому.

Он смеётся, коротко, одними уголками губ, и в этом смехе мне чудится что-то настоящее, не то отработанное обаяние, которым он одаривает половину города, а что-то, что предназначено только мне. Может, я себе это придумываю. Может, я всегда себе это придумываю, и в этом весь корень проблемы, но сейчас мне слишком хочется верить, чтобы разбираться в причинах.

— Готова потусоваться, звезда? — спрашивает он, и в этом «звезда» столько тепла, что я почти забываю дышать.

Я киваю, потому что слова куда-то подевались, а он вдруг протягивает руку, не спрашивая, просто берёт мою ладонь в свою, и ведёт меня к машине через несколько шагов асфальта, будто мы идём по красной дорожке, а не по обычному двору с облупившейся плиткой. Его пальцы тёплые и сухие, обхватывают мою кисть уверенно, по-хозяйски, и я чувствую, как это простое прикосновение прошивает меня насквозь, от запястья до самого затылка, будто через меня пропустили ток.

Это длится всего пару секунд. Ровно столько, сколько нужно, чтобы дойти до дверцы машины, и он тут же отпускает, отдёргивает руку так, будто обжёгся, будто вспомнил вдруг какое-то правило, которое сам себе установил и которое не может нарушить дольше положенного времени. Я вижу, как на его лице на долю мгновения проступает что-то похожее на боль, но он тут же гасит это, открывает передо мной дверь, и жест снова становится просто вежливостью, просто хорошим воспитанием, ничем больше.

— Прошу, — говорит он, и голос у него уже другой, чуть более отстранённый, будто он только что задёрнул занавеску между нами.

Я сажусь в машину, и запах его одеколона обволакивает меня со всех сторон, тёплый, древесный, с едва уловимой ноткой чего-то горького, и я думаю, что могла бы узнать этот запах с закрытыми глазами из тысячи других, узнать в переполненном зале, в толпе на вокзале, где угодно. Он захлопывает дверцу с той стороны, и через стекло я вижу, как он на секунду замирает, прежде чем обойти машину, будто собирается с силами.

Я смотрю на свою руку, на то место, где только что были его пальцы, и оно ещё хранит тепло, странное, почти невозможное тепло, которое не хочет исчезать. Где-то внутри меня та самая часть, которая обещала себе сегодня быть умнее, тихо шепчет, что это ничего не значит, что завтра всё будет как всегда. Но другая часть, та, что живёт под рёбрами уже двадцать лет, только начинает разгораться, и мне кажется, я стою на пороге чего-то важного, чего-то, что наконец изменит правила игры между нами.

Я ещё не знаю, что сегодня вечером всё изменится совсем не так, как я думаю.